



Наталия Червинская

Поправка Джексона

Самое время!

Наталия Червинская

Поправка Джексона (сборник)

«WebKniga»

2013

Червинская Н.

Поправка Джексона (сборник) / Н. Червинская — «WebKniga», 2013 — (Самое время!)

Первое, что отмечают рецензенты в прозе Наталии Червинской – ум: «природный ум», «острый ум», «умная, ироничная» и даже «чересчур умная». Впрочем, Людмила Улицкая, знающая толк в писательской кухне, добавляет ингредиентов: отличное образование (ВГИК), беспощадный взгляд художника, прирожденное остроумие, печальный скепсис и свободное владение словом. Стоит прочесть всем, кто помнит, какую роль сыграла поправка Джексона – Вэника в эмиграции из СССР. А кто не в курсе – им тем более. Поправку наконец отменили, а жизнь не отменишь и не переиграешь – она прожита вот так, как ее написала-нарисовала «чересчур умная» Червинская.

Содержание

Рассказы	6
Молодой человек из Питтсбурга	6
Переселение душ	18
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Наталья Червинская

Поправка Джексона

© Наталья Червинская, 2013

© «Время», 2013

Наталья Червинская закончила режиссерский факультет ВГИКа и работала в юности на московском «Союзмультфильме». Позднее, в эмиграции, она стала известным художником-миниатюристом. В последние годы Червинская выступает как писатель.

Удивительным образом ей удалось сохранить во всем, что она делает, профессиональные навыки кинематографиста-мультипликатора, создающего каждый раз заново маленький автономный космос, существующий по собственным законам.

Если говорить о рецептуре, которую Червинская использует как автор рассказов, то состоит она из редких ингредиентов: природного ума, отличного образования, беспощадного взгляда художника, врожденного остроумия, печального скепсиса, свободного и непринужденного владения словом.

Биография Натальи Червинской повторяет траекторию движения многих людей, покинувших Россию и вынужденных уже во взрослом состоянии обучаться заново ходить по новому континенту, заново учиться говорить, понимать простые вещи и сложные понятия. Это – труднейший путь, но этот путь дает уникальную возможность прожить как бы не одну, а две жизни. Именно на перекрестке двух миров – России времен заката советской власти (о чем мы и не догадывались, полагая, что советская власть вечная и бесконечная) и Америки, тоже на точке глубокого перелома (о чем только сейчас мы начинаем догадываться), выросла эта книга – умная, беспощадная, элегантная и печальная.

Людмила Улицкая

В статье 2432 Кодекса законов США, известной как «Поправка Джексона – Вэника», принятой 3 января 1975 г., говорится, что на страны с нерыночной экономикой, отказывающие своим гражданам в праве на свободную эмиграцию, не распространяются нормальные торговые льготы и что США не будет заключать с этими странами какие-либо коммерческие соглашения.

Отчасти в результате принятия поправки Джексона – Вэника в семидесятых-восемидесятых годах из СССР смогли уехать сотни тысяч людей, известных как «эмигранты третьей волны».

Рассказы

Молодой человек из Питтсбурга

Молодой человек из Питтсбурга, двадцати пяти лет, приезжает искать корни. От матери он получил ограниченный словарный запас, большой чемодан с подарками и короткий список адресов тех ее друзей, которые еще не уехали из страны и не умерли преждевременно.

Первым в списке – адрес дома, где проходили четверть века назад достопамятные Ленкины проводы. Спроектированный во времена модернизма и конструктивизма, то есть в духе абсолютного презрения к человеческой мягкотелости, дом давно уже утонул в захлестнувшей его мелкобуржуазной стихии и напоминает своей эстетикой тришкин кафтан. Бетонные лоджии забраны разноцветными деревенскими фанерками, разномастными кирпичами, превращены для увеличения метража в верандочки. Кафельная, напоминающая о пыточных камерах облицовка осыпается в продранные подвесные сетки. Трубы для газа идут по фасаду во всех направлениях в нелегальные частные кухни. Запланирована была тут когда-то футуристическая домовая фабрика-кухня, но она осталась недостроенной. Гораздо целесообразнее было бы с самого начала построить тут домовую тюрьму или, по крайней мере, КПЗ, так как почти всех жильцов дома сажали многократно, оптом и в розницу.

Обо всем этом молодой человек не имеет ни малейшего понятия, но дом поражает его своим сходством с Центром Помпиду, Музеем современного искусства в Париже, у которого тоже все трубы и кишки наружу. Дом, как и Центр Помпиду, является произведением постмодернизма, хотя молодой человек догадывается, что постмодернизм здесь не постиндустриальный, как полагается, а фольклорный, кустарный, доморощенный.

Все это совсем не похоже на его сны. Ему иногда снились эти таинственные места, из которых произошла мать, и эти знаменитые проводы, про которые ему рассказывалось с младенчества. Он давно уже решил, что мать его, Элен, была настоящим человеком шестидесятых годов, принадлежала к коммуне хиппи. И снились ему бесконечные анфилады дворцовых зал, где плывут под имперскими люстрами облака марихуаны, отражаясь в золотых зеркалах, где танцуют друзья матери, дети-цветы, в расшитых кафтанах, в меховых ушанках...

Провожали Лену четверть века назад в этом доме, в квартире старых большевиков, родителей Марика. Большевики поженились по заданию партии, и Марик этот, иначе Марлен, родился у них очень поздно. По загадочному стечению обстоятельств большевики никогда не сидели; сел вскорости, после и частично в результате проводов, уже сам их ненаглядный Марленчик.

Все три дня проводов происходила невероятная, скоротечная, сокрушительная мартовская оттепель, и прозвали это событие впоследствии Мартовскими Идами, концом прекрасной эпохи.

Квартира постепенно заполнялась бутылками, пустыми и полными, и если положить голову на стол – а многие клали, – то этот лес зеленого и белого стекла казался далеким чужим городом стеклянных небоскребов, тем более что многие бутылки были из валютного магазина, с экзотическими этикетками.

В первый же вечер неожиданно появилась легендарная красавица Идея. Раздраженная тем, что Ленка находится почему-то в центре внимания, она с порога сообщила, что и ей, Идее, дали разрешение на выезд.

После этого никто уже не помнил, что Лена уезжает, провожали Идею; почему и стали называть происходящее Мартовскими Идами. В первый день кто-то, запутавшись, закричал:

«Горько! Горько!» – и все полезли целоваться с Идеей, а не с Леной. На второй день Идея вскочила на стол, сметая большевистский хрусталь шлейфом черного парижского платья, и рыдала: «Прощай, Россия!».

Лена, лишенная своего звездного часа и всеобщего внимания, подумала: если я зарыдаю такое, меня отведут в ту комнату, где пальто и куртки свалены, и мокрое полотенце на лоб положат. А ей все можно. Наивная Лена даже подумала: ну что в ней такого особенного?

Лена уезжала, как все, к воображаемым родственникам якобы в Израиль. Но легендарная Идея ехала в Прованс, к французскому православному жениху, вернее, к пятому мужу, потому что подпольный батюшка их уже тайно обвенчал. Хотя ехала она тоже по израильскому приглашению от третьего мужа, отца ее четвертого ребенка. Теперь остающиеся местные мужья сидели по всем углам и глядели, как мрачные коты. Подпольный батюшка просидел все три дня благодушно и благостно, любуясь на свою духовную дочь Идею.

В этой компании многие путали свальный грех с соборностью. Батюшка принимал у них исповеди и привык ко всему.

Идея была истово верующая: пекла куличи, вышивала стихари, рожала. Новые, свежешлюбленные, и старые, брошенные, мужья прощали ей все, хотя все они были рафинированные эстеты и злоязычные снобы. Красота ее производила впечатление серьезного явления природы, вроде водопада или землетрясения. Люди понимали, что просто находиться с ней в одной комнате уже было событием, о котором стоило потом вспоминать и рассказывать.

Девушки ее победам и парижским платьям даже не завидовали, кроме дуры-Таньки. Но у дуры-Таньки вообще земля была плоская и все равны, и она большой разницы между собой и Идеей не осознавала. Жизнь ее научила, что важнее всего умение и готовность использовать свои половые органы, а остальная внешность – дело десятое. По этой части Танька знала себе цену, вот со всем остальным были неприятности. На второй день проводов она стала тосковать, потому что опять ничего не запомнила и боялась, что сотрудник, к которому она ходила с отчетами, опять ей доброго слова не скажет, а станет ругать душой. Одного из гостей, искусствоведа, она страшно жалела: узнала случайно, что его скоро заберут. И еще в первый вечер он провожал ее, так она, о чем по дороге разговаривали, ничего не запомнила, а вместо того от жалости неожиданно дала ему в подъезде, здрасте пожалуйста, ну что за дура такая.

Хозяин квартиры Марленчик занимался в основном тем, что носился по городу, все знал и про все рассказывал. Если ему категорически запрещали рассказывать, то он таинственно намекал.

– Я был вчера в одном доме... – говорил он. – Я разговаривал с одним иностранцем... Я иду вечером в одно место...

После встречи с ним оставалось впечатление, что в городе кипит бурная жизнь, хотя ничего особенно не кипело.

По призванию и темпераменту Марленчик был вундеркинд с овальным лицом отличника, нежной кожей и лихорадочным румянцем. Он с детства знал много длинных и сложных слов. Он и теперь употреблял много слов. Матерные и непристойные слова он произносил в светских разговорах особенно солидно и отчетливо, как никогда не произносят их люди, у которых эти слова вызывают живые ассоциации.

Во время проводов Марленчик бегал из комнаты в комнату, находясь всюду одновременно и все больше возбуждаясь от невероятно удачного мероприятия, от скопища людей, обладавших широкой известностью в узких кругах. Притом у него была странная надежда утаить проводы от родителей, которые отдыхали в Барвихе. В первый день они с Леной призывали всех открывать форточки, но уже к ночи от запаха мокрой обуви и сигаретных бычков в томате – все гасили сигареты прямо в тарелки – и от удушливых перегретых радиаторов в воздухе повис такой топор, что форточки не помогали. Необходимо было открыть заклеенные

на зиму окна. К этому Лена подключила художников-нонконформистов. Им всегда поручали такие дела, где сила есть – ума не надо. Нонконформисты поручения ловко выполняли, не прилагая никаких физических усилий. У них, единственных в этой компании, был глаз и умение обращаться с инструментом.

Внизу, во дворе, молодые топтуны наружного наблюдения слышали вырвавшийся из окон шум. По количеству децибелов они определили, что и градусов там, наверху, было уже немало.

Теплело так быстро, что в первый день гости проваливались у подъезда в сугроб, на второй – в снежное крошево, а на третий день проваливались уже в студенистую лужу. Стукачи наружного наблюдения злорадно фотографировали проваливающихся.

Нонконформисты взломали окна и всю первую ночь пили на кухне. В те времена еще не начался концептуализм, и художникам полагалось не языком молотить, а молча забивать гвозди в подрамники. Эти художники, трое, пившие на кухне, молчали великолепно.

Известно было, что произносили они только два слова: «Нолили?» и «Выпили?». Они никогда не говорили даже: «Сбегаем?». У них было шестое чувство, когда сбежать. Они деловито собирали со всех деньги, но бежали всегда сами, потому что имели взаимопонимание с таксистами. Таксисты же были необходимы, чтоб доехать до дежурного гастронома или купить тут же, на месте, из багажника.

Никто не видел их по отдельности, всегда втроем. Как будто они срослись, как в грибнице три боровика или как граждане города Кале работы Огюста Родена – они тоже были огромные и бородатые.

Когда на второй день нонконформистов прогнали с кухни, они перешли пить в кабинет старого большевика, где скромно сели на пол возле тахты. На реквизированном паласе висели скрепленные буденновские шашки и фотографии старого большевика с нерасстрелянными соратниками; расстрелянных он по мере расстреливания сжигал. Под тахтой были три огромных глубоких ящика, которые Марик редко выдвигал, потому что хранившийся там самиздат читать ему было некогда. Он все время носился по городу, а читать Джиласа или «Хронику текущих событий» в метро даже Марик считал излишним. В метро он читал «Камасутру».

На тахте сидела старушка, вдова Серебряного века, и рассказывала о том, как они с поэтом Иваском в двадцать третьем году стояли в очереди за картошкой.

Ее благоговейно слушали два члена Союза писателей и большая рыжая немка-издательница, любимая всеми за поразительное знание блатной лексики.

Вдова пила водку из большевистского фужера и заедала любимым еще с гимназических лет бельгийским шоколадом, специально для нее привезенным. На ней было крепдешинное платье в цветочек, еще тридцатых годов, а под платьем – трико до колен. В лагерные годы она научилась считать теплое белье предметом роскоши. Рассказывала она по-немецки. Члены Союза, не знавшие иностранных языков, смеялись всякий раз, услышав знакомое слово «картоффел».

Между собой писатели не разговаривали, они презирали друг друга. Каждый из них считал другого бездарью и конъюнктурщиком. Так оно и было. Хотя немецкой издательше было известно, что оба они писали еще и свое, заветное, для души, и публиковались на Западе под псевдонимами. Интересно, что под псевдонимами они друг друга читали и уважали.

А выгнали художников из кухни, потому что там инакомыслящие собрались, диссиденты, им надо было написать открытое письмо.

Сидели в тот вечер на кухне два истопника-историка, ночной сторож-поэт, один доктор математики и другой – органической химии, у которых еще была работа, безработный кандидат искусствоведения, один дьякон из генетиков, два еврея, боровшиеся за права баптистов, старая дева-машинистка, которая все благоговейно перепечатывала на своей «Эрике», отъезжающая на Запад Лена и молодой человек Георгий.

Накануне у одного из истопников был обыск, и теперь им надо было написать открытое письмо, с тем чтобы повыгоняли с работы и пересажали всех остальных. Никакого другого практического результата от письма не предвиделось, и это всем присутствующим было хорошо известно. Перевезти письмо на Запад должна была Лена. Предполагалось, что ее не будут шмонать вследствие ее незначительности. Лена редко открывала рот, ее в семье учили держать рот закрытым. В детстве – чтоб горлышко не застудить и не наглотаться микробов, а потом – чтоб не сказать чего лишнего. «Сейчас такое время, – учили Лену, – когда не надо говорить ничего лишнего. Сейчас надо особенно молчать».

Лена своим инакомыслящим друзьям чрезвычайно завидовала. Она завидовала простоте их жизни. Сколько она себя помнила, все кругом боялись чего-то, крутились, изворачивались и делали лишнее и бессмысленное. И только эти люди делали то, что в этой стране и в это время имело смысл делать: то есть кричали караул. И она была уверена, что сидит среди каких-никаких, но все-таки самых замечательно сумасшедших и свободных людей, которые ей когда-либо в жизни попадались и попадутся. Так, впрочем, оно и было.

Никто этим инакомыслящим спасибо не сказал ни тогда, ни впоследствии. И действительно, что их заставляло портить жизнь себе и окружающим? Существовала популярная теория, что действовали они из тщеславия. Хотя слава в этой области неукоснительно приводила к полной изоляции и лишению жиров, белков и углеводов, которых все-таки каждому человеку хочется.

Может, у них мозги были такие инфантильные, без перегородок. У нормальных людей мозги были разделены на отсеки, как грецкий орех. В одном отсеке существовало знание о том, что, мол, живем мы все на братской могиле – ужас, ужас. В другом жила радостная надежда, что к праздникам на службе выдадут продуктовые заказы, которые назывались принудительными наборами. Нельзя было выбирать, что дадут; но иногда давали курицу, иногда даже югославскую баночную ветчину. В третьем отсеке находилась гордость великой национальной литературой: слезинка ребенка, во глубине сибирских руд, над кем смеетесь – над собой смеетесь, и так далее. В четвертом – не меньшая гордость тем, что все-таки теперь не голодаем.

Много чего можно сделать с людьми, которые гордятся тем, что все-таки не голодают.

И не только не голодают. Еще больше люди гордились, что просто так теперь не сажали, что террора не было: давили более предсказуемым способом. Сажали только тех, кто лез на рожон. Хотя границы, где рожон начинался и кончался, не были точно определены; тут следовало руководствоваться инстинктом.

А у этих правозащитных и инстинкта не было, и мозги их инакомыслящие были без перегородок, всё у них в мозгах сливалось, как у маленьких детей. Может быть, они еще в дошкольном возрасте выдирали потную ручку из цепкой родительской руки, в младших классах не слушались классных руководительниц, на работе провоцировали ненависть руководства. Патологическое инакомыслие – это ведь был не политический термин, а медицинский. Непреодолимая потребность ляпнуть лишнее, задавать глупые вопросы, называть вещи своими именами, общую солидарность и солидность нарушить; эту свойственную всей стране и культуре мрачную тупую солидность оскорбить каким-то ерничеством дурацким, ненужным фрондерством.

Вся их оппозиционная политическая программа заключалась в том, что они решили нормальное считать нормальным и делали вид, что это неподсудное дело. Например, почему-то им казалось неприличным жить в стране, где убили несколько миллионов человек и сделали вид, что ничего особенного. Поэтому они пытались изучать историю по реальным документам и свидетельствам очевидцев. Или они считали, что человек может сочинять стихи и показывать их своим знакомым, не подав текста на предварительную цензуру. Или – что нонконформисты имеют право рисовать не только в стиле середины девятнадцатого века, но и так, как это делали к концу девятнадцатого и в начале двадцатого. С другой стороны, они считали, что

арестованных надо защищать и семьям их помогать, как это делалось в девятнадцатом веке, хотя уже с начала двадцатого подача калачика каторжанину преследовалась законом. Деятельность их напоминала не Талейрана, а скорее Франциска Ассизского. Это он, задумав построить храм, начал таскать на спине камни и складывать их на городской площади в надежде зажечь остальное население личным примером. Хотя его-то сограждане и в самом деле построили храм. Во времена Средневековья гораздо легче было работать в этом жанре – люди были впечатлительнее.

Всякий раз, добавляя к тексту письма какой-нибудь новый пассаж, эти душевнобольные прекрасно знали, что добавляют себе срок. Лена давно про себя решила, что при подобных обстоятельствах надо просто подписывать, что дадут; хотя текст как таковой Лену все-таки беспокоил. Ей казалось, что логика все время подменялась эмоциями и голословными утверждениями; она в глубине души очень любила логику и факты. Но Лена знала, что все остальные считали это обывательски-узким методом мышления, и своего мнения не высказывала, хотя у нее язык чесался. Да и понимала она, что важна тут не стилистика.

Но подписать письмо Лене в тот вечер так и не пришлось. Письмо все никак не дописывалось, а ей стало плохо. Кандидат искусствоведения, Костенька, повел ее прилечь. Ленка всем подробно объяснила, что напилась в стельку, чтоб не подумали, что она трусит.

Трусил почему-то сидевший с ними на кухне молодой человек Георгий.

Георгий был тогда совсем молоденький, но физиономия у него была пухлая, с уже намечавшимся вторым подбородком при полном отсутствии первого. Более того, работал он в институте какого-то не то ленинизма, не то дружбы народов. Они все думали, по витиеватости мышления и по молодости лет, что человек с такой очевидно противной мордой стукачом быть не может. Они ошибались.

Он напоминал себе, что слушает все это по долгу службы, что у него есть допуск. Именно он и его коллеги были самыми образованными и информированными людьми в этой анархической стране, они мыслили государственно, без ерничества и фрондерства, они были патриотами, на которых лежало... – ну, и так далее, и так далее. Люди на кухне сидели важные, у каждого из них был свой куратор, лично занимавшийся ведением дела и просматривавший все доносы. Георгий знал имена-отчества кураторов и их высокий ранг, уважал сидевших на кухне и ловил и запоминал каждое их слово.

Георгий пошел в стукачи, потому что ему с самого детства хотелось жить, как порядочные люди. Выросши в коммунальной квартире, Георгий сведения о стиле жизни порядочных людей почерпнул целиком из литературы. Про мораль и нравственность он пропускал, этим его и так пичкали. Он читал про экзотическое, недоступное: про еду, жилье, одежду. Про шмотье, жилплощадь, жрачку. Толстой, например, писал, что у порядочного человека должно быть чистое белье и чистые, холеные ногти. Булгаков подарил Георгию мысль, которая осталась его девизом на всю жизнь: осетрина должна быть первой свежести! И потом, когда он уже начал сотрудничать и имел допуск в спецхран, тот же любимый автор подарил ему другую великую мысль: обедать надо в столовой, а спать в спальне!

Он был от природы брезглив и чистоплотен и хотел иметь собственный индивидуальный санузел, по возможности не совмещенный, а отдельный. Талантов у него было мало, и таланты в те времена не особенно помогали, скорее наоборот. Помогало иногда обаяние, но этого у Георгия не было совершенно, равно как и совести. Совесть, однако, товар в своем роде уникальный: чем ее меньше, тем легче ее продать. Притом продавать совесть можно не один раз, а многократно, и затоваривания никогда не наступает: чем больше все кругом совесть продают, тем больше на нее спрос.

Белобрысый искусствовед Костя, который повел Лену прилечь, верил в облагораживающую силу страдания. Костенька думал, что у интеллигента всегда должно быть плохое настроение, что мыслящему человеку необходимы внутренние мучения, чувство вины, тоска, неудовлетворенность жизнью, ранимость и одиночество, особенно чувство вины и одиночество.

Костя считал, что страдания украшают человека, и был в этом совершенно прав. Известно, для чего нужен павлину хвост. Вот и Костя – что бы он делал со своими торчащими зубами и унылым носом, если бы не душевная тонкость?

«Костя такой тонкий!» – говорили девушки.

Костя не прилагал никаких усилий, он даже предпочитал платонические отношения. Он бы охотно помучался неразделенной любовью, но этого ему не было дано. Девушки говорили: «Он такой ранимый!».

По количеству побед и удивительных романов Костенька намного превосходил Идею.

С Леной у него была давняя дружба и пока еще платонический роман. Они зашли в большевистскую спальню, где было темно, тихо и ненакурено, потому что Марленчик строго запретил туда соваться. Лену Костенька уложил среди пальто и курток, сам же сел рядом и стал смотреть с тоской. Знал ли он в этот момент, что похож на брошенную собаку, – неизвестно, но Ленка автоматически протянула руку и погладила его по голове. Руку она отдернула, потому что волосы искусствоведы в те времена мыли нечасто. Но тут же устыдилась: вот она, будущая иностранка, уже брезгает простым диссидентом, которому черт-те знает что предстоит, – и погладила опять.

Костя тогда произнес фразу, которая сработала недавно с одной француженкой:

– Вот, ты уезжаешь, а нам тут оставаться...

Ленка тогда прижала его голову к своему плечу. Костя ей не особенно нравился, ей больше нравились черненькие, но ведь и вправду он тут останется, и загребут его почти наверняка.

Костя тогда поцеловал Лену целомудренно в лоб. Впрочем, целомудрие это было уже чисто ритуальное, так как дальнейшее было неотвратимо. Ленка ему не особенно нравилась, но она уезжала, и вот этими самыми глазами увидит Рим, вот этими самыми ногами будет ходить по Парижу...

Сексуальная революция, наступившая в других странах вследствие изобретения противозачаточной пиллюли, в этой компании проходила без каких-либо научно-технических оснований и держалась исключительно на жалостливости боевых подруг. Мозги у Кости были устроены так, что думать он мог только абстрактно; для него реальный мир служил только поводом для создания концепций, так же как искусство существовало только как объект искусствоведения. Бытовые детали и практические расчеты он презирал. Происходившие от этого презрения к деталям тяжелые последствия Костя никогда не связывал с причиной, то есть с собственными действиями, а всегда с первопричиной – с тоталитарной системой. Теоретически он хотел быть джентльменом и оберегать своих возлюбленных, но в последний момент всегда забывался в порыве страсти. Придя в себя и выкурив сигарету, Костя решил, что во всем виновато ханжество властей, из-за которого нет в продаже необходимых средств. И кроме того – авось обойдется.

Он оказался неправ.

Позднее Лена хотела потихоньку выбраться из большевистской спальни, но прямо в дверях столкнулась с Георгием. Он ей был почему-то на редкость противен. Уж на свои-то проходы она его точно не звала, так откуда же он узнал и почему возник в самом начале, еще до того как неконформисты притащили первые сумки с порученной им выпивкой? Ленка посмотрела на Георгия, как солдат на вошь, что Георгию было крайне неприятно; с ним и так все девочки танцевать отказывались. Он подумал, что ты, мол, сучка, у меня еще попляшешь;

хотя ему было понятно, что Ленка покидает родину через две недели, и поплясать он ее уже не заставит, не успеет. Связей у него таких не было.

Ленка пошла в гостиную, где девочки щипали корпию.

Гарвардский славист принес два блока «Мальборо» для передачи арестованному. Сигареты передавать было нельзя, только табак для самокруток, и девочки расщипывали валютные сигареты, а табак ссыпали в глубокое блюдо. Блюдо это, реквизированное когда-то у коллекционера, старая большевичка не любила за уродство – оно было расписано Татлиным – и держала на кухне. Девушки щипали сигареты торопливо, так как несколько пачек у них уже увели и раскурили гости. Лена села помогать, но она все думала о происшедшем и означает ли происшедшее, что она Костю любит? И она курила безостановочно. После трех валютных сигарет подряд ее стало еще хуже мутить, и она вышла подышать на лоджию.

Там стояли, повернувшись друг к другу идентичными умными носами, юный славист из Гарварда и младший научный сотрудник из ЦГАЛИ. Они разговаривали о взаимоотношениях Цветаевой и Рильке.

Наверху, над колодцем двора, висела мартовская луна, внизу шныряли мартовские кошки, и в них швыряли камнями молодые озлобленные стукачи. Пахло тающим снегом, то есть отчаянными надеждами, и тревожными предчувствиями, и романтическими приключениями. Славист думал: чтоб вот так свежо и восхитительно пахло талой водой и ночной сыростью, нужно, чтоб лежал этот снег очень долго, месяцами сдавливаясь, промерзая и серея в безнадежной тусклой темноте. Оттого и люди эти такие свободные, думал он, никогда в жизни не встречал я таких свободных, совершенно отчаянных людей.

«Ах, какая ночь, – думал романтичный славист. – Какая удивительная ночь». И казалось ему, что мир полон возможностей, что всё впереди и что он влюбился: то ли в Идею, то ли во всех присутствующих, а вернее всего – в младшего научного сотрудника.

Уйдя с лоджии, бедная Лена натолкнулась еще и на Костину жену. У Кости была вроде как жена; он женился фиктивным браком на однокурснице, которой угрожало распределение в Каракалпакию. Потом они стали и комнату вместе снимать, для экономии. Вообще эта вроде как бы жена Костю очень поддерживала. Фиктивная быстро зашептала Лене на ухо, что, мол, она в положении; они с Костей решили на этот раз рожать, потому что одна надежда – ребенок, может, не заберут, бывали случаи...

После трех дней проводов Лена возвращалась домой пешком в состоянии уже не похмеля, а почти наркотического транса, стуча зубами от недосыпа и возбуждения.

Город за эти три дня не только оттаял, но и начал подсыхать, вроде бы и почки какие-то начинали наклеиваться, и пахло теплом. Людей никого не было, утро было поразительно, пронзительно светлое, как галлюцинация. Она смотрела на город уже почти уехавшими глазами, и он казался уже почти воспоминанием. А впереди следовало ожидать одного: совершенно ничем не ограниченной, абсолютной свободы в свободном мире...

Отчет стукачей наружного наблюдения был посвящен почти целиком действиям художников-нонконформистов, упоминалось примерное количество добытых ими бутылок. Фотографии не вышли, потому что управдом так и не ввинтил лампочку у подъезда, хотя участковый его заранее предупреждал. Микрофонные записи тоже оказались совершенно непригодными и не поддающимися расшифровке. Там в основном прослушивались голоса Эллы Фитцджеральд, Эдит Пиаф и Галича с Окуджавой. Двое последних, впрочем, присутствовали лично. «Плачьте, дети, – прослушивалось на записи. – Умирает мартовский снег». И дальше – неатрибутированные всхлипывания. Плакал гарвардский славист.

После Мартовских Ид бедный славист попал в списки, и ему больше не давали визы, лет десять он никаких свободных людей не видел. Не видел он больше и младшего научного

сотрудника, хотя понял в ту ночь, что влюбился на всю жизнь именно в него, а не в Идею. От всего этого пострадала его карьера и научные изыскания; он стал мелким профессором, вовсе не в Гарварде, как было ему на роду написано. Живет он со своим партнером, тоже профессором, социологом. Социолог человек хороший, но из Миннесоты, добродетельный и либеральный до одурения, член обществ и организатор протестов. Вегетарианец, конечно. И слависту иногда кажется, что живут они в гражданском браке не по любви, а для общей либерализации нравов. Ничего похожего на ту ночь в его жизни больше не случилось.

Судьбы нонконформистов, граждан Кале, несмотря на единство, сложились совершенно по-разному. Только один из них, бывший монументалист, впоследствии окончательно спился. Он бродил по улицам и делал, из чего под руку попадалось, крошечные, почти не различимые глазом произведения искусства, оставляя их на скамейках в метро, на траве в парках, возле фонарных столбов. Особенно он любил оставлять их в автоматах для газировки. Там освещение было хорошее, а граненый стакан можно было взять в виде гонорара.

Другой бросил пить совершенно, две недели на трезвую голову размышлял об искусстве и о своем месте в нем, после чего повесился в своей мастерской на Масловке.

Третий стал иеромонахом в Оптиной пустыни.

Кроме тех двух недель на Масловке, так неприятно завершившихся, никто и никогда о качестве их искусства всерьез не задумывался – до такой степени биографии их были выдержаны, и закончены по стилю, и характерны для эпохи. Именно в результате этой эпохальной характерности все трое висели на объехавшей мир ретроспективной выставке «Здравствуй, Россия!». Все трое были представлены портретами обнаженной Идеи, с которой у каждого из них было свое незабываемое прошлое.

Французский жених ждал появления Идеи в Провансе, но так получилось, что при пересечении границы, дней через пять после проводов, попался ей восемнадцатилетний хасид, с которым произошел у нее грех. Она сходила к исповеди, покаялась в хасиде и думала, что всё. Но хасид оставил ей на память брошюры. Хасидские брошюры покорили Идеино сердце своей простотой. Она за два-три месяца выучила на скорую руку Пятикнижие Моисеево, с энтузиазмом прошла все необходимые обряды и уехала в Израиль, где вышла замуж в быстрой последовательности за двух-трех евреев и родила на почве иудаизма еще больше детей.

Недавно фотография ее появилась на обложке журнала «Тайм». Она защищает от эвакуации свое поселение в Газе, стоя на крыше и воздевая руку к небу. В руке у нее бутылка с какой-то дрянью, которой она собирается поливать бедных израильских солдатиков, мальчиков и девочек. Она все еще очень хороша, только очень уж похожа на боярыню Морозову со своими впалыми щеками и горящими глазами, с ортодоксальной косынкой на голове.

После отмены цензуры члены Союза писателей опубликовали всё, и официальное, и заветное, вперемешку. Читающая публика не заметила разницы, хотя в том, что для души, было гораздо больше секса. Один из писателей, сочинявший детективы про чекистов и шпионов, в нецензурные времена преуспел. Вначале он писал про плохих чекистов, которые ловили хороших диссидентов, а теперь пишет про опять хороших чекистов, которые ловят плохих чеченцев.

Вдова Серебряного века в тот вечер передала немке свои мемуары для посмертной публикации; мемуары-то под псевдонимом не напечатаешь. Умерла вдова через две недели. Смерть ее прошла незамеченной, а мемуары наделали много шума.

Немедленно после отмены цензуры немкино издательство перестало получать дотации из Бонна, и она перешла на торговлю антиквариатом. Цены вначале были такие, что она гоняла целые составы в Германию, штабелями возила мраморных и бронзовых вождей в заплombированных вагонах. Немка ничего не могла поделать: все предки ее до десятого колена были приличные люди, бюргеры. Сколько она ни боролась с наследственностью, деньги к ней так и липли.

Что же касается дуры-Таньки, то она обнаружила, что подзалетела тогда в подъезде от искусствоведа Кости. Она ужасно не любила делать аборт без обезболивания, хотела, чтоб ей вкололи по блату новокаин, и имела глупость признаться сотруднику и попросить у него денег на взятку врачу. Сотрудник денег не дал, но от отвращения перестал ее даже вызывать, уволил, можно сказать. А Танька, пока суд да дело, пропустила время, и пришлось ей как дуре рожать.

Самые подробные сведения и наиболее полный список гостей поступили от хозяина дома, Марлена, и сработала тут не кровь большевиков, а страсть вундеркинда давать развернутый, обстоятельный, эрудированный ответ на все вопросы. Невежество следователя вызвало в нем непреодолимое желание поправлять и корректировать. Ему необходимо было доказать, что он материал назубок знает.

Благодаря усилиям старых большевиков срок Марлену дали всего ничего, детский. Но родители на этом не успокоились, продолжали тянуть за все ниточки, нажимать на все кнопки, и в конце концов им дали выговор по партийной линии. И все равно большевичка продолжала беспокоить людей. Ничему ее жизнь не научила, не закалилась она в революционном горниле, полезла на рожон. Тогда их открепили от Кремлевки, и пайков лишили, и поликлиники.

Вернувшись, Марик длинных умных слов больше не произносил, а матерных тем более. Он вскоре женился на дуре-Таньке, которая его очень жалела. И вот до чего же Таньке повезло: Марик взял ее с ребенком, девочка росла в шикарной квартире, и Марик оказался такой хороший, тихий, домосед.

А Лена как в воду смотрела: загребли Костю очень скоро после проводов. Тонкий и ранимый теоретик Костя получил огромный срок. Видимо, его способность не сосредоточиваться на конкретном и реальном и презирать бытовые детали оказалась гораздо сильнее и глубже, чем кто-либо мог предполагать. На основе предложенной ему судьбой реальности создал он, как всегда, свою концепцию и теорию; теория эта не включала в себя ни малейших уступок суровой реальности и уж точно не включала ни малейшего сотрудничества со следствием. На допросах он молчал, а на суде произнес свое знаменитое последнее слово, ходившее потом в списках долгие годы. И все эти долгие годы Костя сидел, до самого исторического переворота.

Георгий после проводов доноса не написал, просто не успел. Ему предстояла через два дня загранка.

И так получилось, что загранка Георгию невероятно понравилась. Загранка оказалась совершенно родной. Он знал, куда надо явиться, и явился с заранее подготовленным планом сотрудничества, назвавшись, впрочем, не лейтенантом, а подполковником. Ему были чрезвычайно рады как ценному перебежчику.

Георгия поразило, насколько проще была тут жизнь. Естественно, санузел был у всех. А за продажу совести человеку с его опытом платили уже на уровне бассейна, сауны, джакузи. Более того: вертеться тут надо было только до получения зарплаты, а после получения дензнаков вертеться уже совершенно не надо было. Это было поразительно: деньги заменяли блат, угрозы, взаимные услуги. Все блага жизни можно было иметь без связей, за простые купюры. Георгий не переставал по-детски радоваться первозданной свежести здешней осетрины во всех ее формах и воплощениях.

Он вскоре опубликовал свою важную и часто цитируемую книгу. А именно: почти дословный пересказ правозащитного письма, сочинявшегося во время проводов.

И правозащитники, услышав свой собственный текст по «Голосу», чрезвычайно обрадовались. «Вот, – говорили они, – он оказался человеком, выбрал свободу. А мы всех подозреваем: тот стукач, этот стукач...»

А Лену после проводов до самого отъезда все тошнило. И продолжало тошнить в свободном мире. Так вот и получилось, что контрабанду Лена все-таки вывезла, только это было не открытое письмо к мировой общественности, а сын ее, уроженец Питтсбурга.

Жизнь Лены в свободном мире сложилась не так блестяще, как предполагалось. Попала она вначале в Питтсбург; и надеялась, что на год, да так и застряла на всю жизнь. Всякий раз что-нибудь в ее карьере неожиданно срывалось. У нее было странное суеверие, что ее преследовал какой-то безликий злой гений.

Так оно и было, хотя он был не особенный гений. В свое время соответствующие заграничные органы отсосали из Георгия все сведения о работе конкурентов и спустили его на тормозах в академическую жизнь. В университетах Георгий столкнулся с западной профессурой, с удивительными людьми, которые разговаривали о марксизме, троцкизме, меньшевизме, мелкобуржуазной стихии и диктатуре пролетариата по собственному желанию и в свободное от работы время. Георгий начал опять говорить об ерничестве, фрондерстве и нигилизме диссидентов, о государственном мышлении, стабильности и реалистичности руководства; это среди заграничных интеллектуалов срабатывало замечательно. Кроме того, несмотря на презрение к потребительскому обществу, жили интеллектуалы очень порядочно.

У него была цепкая профессиональная память. Он помнил Мартовские Иды, как не помнил никто из участников. Другие помнили сугроб у подъезда, вопивших кошек; другим казалось, что все было так романтично, что все были так молоды, что все были во всех влюблены. Он же прекрасно помнил, кто, где, что, с кем, когда и кто кого. Помнил кухню, где сидел он с друзьями, людьми, чьи имена принадлежат теперь истории. Помнил, как он рассказывал им еще только зарождавшуюся тогда идею своей будущей книги...

Помнил девицу пьяную, сидевшую почему-то на кухне, где ей сидеть не полагалось по рангу. Которая вылезла еще потом из спальни, шлюха, и посмотрела на него, как солдат на вошь.

Несколько раз Джордж, бывший Георгий, задумчиво говорил на коктейлях:

– Боюсь, что Элен – человек не того ранга, который вам нужен... По словам великого писателя: осетрина должна быть первой свежести...

К нему прислушивались, потому что говорил он очень тихо и медленно.

Позднее, когда на бывшей георгиевской родине произошли революционные перевороты, в результате которых те, кто были когда-то наверху, оказались наверху, а те, кто раньше были внизу, оказались внизу, – Георгий завел собственный бизнес, в партнерстве с одним бывшим коллегой. Они в старые времена лично не были знакомы, но коллега хорошо знал Георгия заочно, он вел на него досье после побега.

Теперь они сидят иногда по вечерам в джакузи, которое у Георгия на открытом воздухе, деревянное, японского типа; с большим вкусом сделано. Время от времени с мягким стуком падают в траву шишки, в сиреневых сумерках жужжит незлобивый калифорнийский комар; они сидят в горячей булькающей воде, шевелят большими волосатыми животами, ругают Запад...

Квартира оказывается настолько непохожей на его детские сны, что молодой человек из Питтсбурга рассказывает впоследствии маме Элен, будто друзья ее переехали.

Дура-Танька встречает совершенно незнакомого сына полузнакомой когда-то Лены объятьями, поцелуями и чуть ли не слезами. Она очень подобрела и раздобрела. Почти с порога она сообщает гостю свою главную мысль, до которой дошла своим умом и очень ею гордится. Она теперь сообщает эту свою мысль всем встречаемым:

– Раньше, – говорит дура-Танька, – у нас в стране был порядок. А теперь бардак. Полный бардак.

Иностранец улыбается лучезарной улыбкой человека неискушенного и выросшего среди неискушенных людей. Простодушная его белобрывость и зубастость до такой степени пенсильванские, что даже мама Элен уже совершенно забыла об их изначальном происхождении.

Дуры-Танькина дочь Натуська назвала кучу гостей на встречу с иностранцем.

Молодой человек объясняет, что окончил университет, *sum laude*. Никто не реагирует.
– С отличностью, – застенчиво поясняет он.

Натуська киснет со смеху.

Молодой человек огорчается; не за себя, а за маму. К двадцати пяти годам он уже понял, что его *sum laude* – главный итог Лениной жизни.

Натуська клеится к гостю, просто так, чтоб иностранец зря не пропадал. Но она ему почему-то совершенно не нравится. Белесость ее и торчащие зубки что-то ему смутно напоминают. И вообще ему нравятся черненькие – африканки, латиноамериканки. Кроме того, если язык материнских друзей молодой человек из Питтсбурга еще кое-как понимает, то язык младшего поколения непонятен ему совершенно; особенно непонятны постоянно вставляемые в разговор искаженные английские словечки.

Непонятны ему и всё новые и новые толпы гостей, подтягивающиеся после полуночи. Непонятно количество бутылок, которыми быстро зарастает стол. Совершенно непонятен салат оливье. Хотя вид и запах квартиры молодому человеку из Питтсбурга частично знакомы. Он одно время был добровольцем и развозил бесплатные горячие обеды бедным старикам и тяжелобольным. Он узнает эту безнадежную пыль повсюду, духоту от перегретых батарей, завалы каких-то ненужных тряпок, поломанных вещей. Только книг почему-то ужасно много: на полках, на полу. Кастрюли стоят на книгах. Хозяин книг, Марленчик, уже давно умер в преклонном для этого поколения возрасте сорока пяти лет.

Какой-то старик с клюкой набрасывается на гостя с умопомрачительными теориями о пороках американской демократии и о ее неминуемой и скорой гибели. Демократия у молодого человека связана навсегда со школьной экскурсией в Филадельфию и вызывает немедленные воспоминания о страшной жаре, которая в тот день была, горячей мостовой, выложенной узкими, выложенными, как музейный паркет, историческими кирпичами, о раскаленном металле надтреснутого Колокола Свободы, об который обжег он свой восьмилетний палец. И потом о цифрах: число поправок к Конституции, число судей Верховного суда, число конгрессменов в пропорции к населению штата... Его так долго обучали устройству этой демократии, с детского сада до аспирантуры: как она работает и какие в ней рычажки, и детали, и противовесы, и пружины, и как за ней следить, чтоб хорошо работала, – ему кажется иногда, что эту старинную, восемнадцатого века и сложнейшего устройства демократию он мог бы разобрать и собрать с закрытыми глазами. Как все население страны, от бездомных до сенаторов, он суеверно боится, что если вытащить какой-нибудь устаревший архаический винтик, то все вдруг развалится – ведь на самом деле никто не понимает, почему так повезло, почему все работает уже столетия; подозревают, что держится на Божественном Провидении. Молодой человек только вздрагивает от совершенно святотатственных и неожиданных предложений странного старика. Например: полностью и немедленно изменить всю систему голосования. Ему никогда и не мерещилось, что можно до такой степени пренебрегать деталями и конкретной реальностью, до такой степени широко мыслить, без всяких ограничений практическими соображениями, признавая только абсолютный идеал, не подозревая даже, что прагматизм – не ругательство, а философское течение... Вышколенный уважать чужое мнение, особенно мнение представителей чуждой цивилизации, он прислушивается с почтением, его ничто не шокирует – ни полное незнание стариком элементарных фактов, ни отсутствие логики. Наоборот, все это невероятно соблазнительно. Демократия у старика совсем другая, без цифр. Как Свобода на баррикадах – красивая, полуголая, со знаменем и пистолетом. И никаких кругом дотошных адвокатов, никаких буквоедов-законников, одни герои в разодранных белых рубашках. Старик кричит: «Да я тебе элементарно, на пальцах могу объяснить, как это делается!» А пальцы у него удивительные: заскорузлые, корявые. Руки как грабли. Как будто этот профессор полжизни проработал чернорабочим или лесорубом. Молодой человек из Питтсбурга не обижается за демократию, но ему опять немного обидно за маму. Именно для этого старика он почему-то

должен был тащить целый отдельный рюкзак с подарками, и Элен настаивала, чтоб они обязательно встретились и познакомились. А старик ни одного вопроса не задал ни про Лену, ни про самого молодого человека, ни про страну, из которой тот приехал...

Сына фиктивной жены, записанного в паспорте, Костя всю жизнь честно считал своим единственным ребенком. Сейчас этот сын решительно прерывает политическую дискуссию и отправляет старика домой, спатеньки пора; а сам остается еще погудеть с ребятами. Сын фиктивной жены подпрыгивает на костылях. Ногу он потерял на войне. Он может с закрытыми глазами разобрать и собрать автомат Калашникова.

Под утро Танька просыпается от головной боли и жажды, решает, в который уже раз, что водки ей, дуре, пить нельзя, возраст не тот; и идет на кухню попить водички. Закуривая, Танька слышит знакомое чавканье и причмокивание – так чавкает во сне Натуська, с младенчества и по сей день. Но доносится чавканье не только из Натуськиной комнаты, но и из гостиной, где завалились на большевистской тахте молодой человек из Питтсбурга и фиктивный сын. Танька бродит из комнаты в комнату с сигаретой в зубах, прислушиваясь, и присматриваясь, и занимаясь сложными гинекологическими вычислениями дней и месяцев, которыми так любят заниматься дамы. В голову ей, что бывает нечасто, приходят сразу две мысли, и одна другой горше. Первое: нельзя будет пристроить Натуську за этого иностранца, а как она, дура, размечталась. И второе: раньше тоже порядка не было. Всегда был бардак. Всегда один бардак.

Они чавкают во сне и вздыхают совершенно одинаково, все трое. И лица у них совершенно одинаковые во сне, даже у старшего брата выражение какое-то невинное. Кажется, что у них все впереди, вся жизнь, и даже кажется, что в их жизни еще может быть какой-нибудь смысл. Во всяком случае, хочется верить.

Переселение душ

Нашли их на другое утро, но никому из жителей тех мест не хотелось входить в контакт с полицией, хоть бы даже и по телефону, и анонимно. Однако в конце концов их забрали в морг; и опознали недели через две, по иммиграционным отпечаткам пальцев.

Они и родились почти что в один день и жили в одном доме. Женечку родители называли в честь тети Евгении, а Сашеньку бабушка назвала в честь, конечно же, великого национального поэта. В Сашенькином случае дело осложнялось тем, что не только имя, но и отчество бабушке пришлось сочинять. Мать несовершеннолетняя, которая приходилась бабушке даже не дочерью, а племянницей из провинции, почти немедленно исчезла по своим делам и впоследствии не появлялась. Отчеством Сашеньке, по молодости лет, так никогда и не пришлось воспользоваться.

– Смотри, смотри, Сашенька, кто там в зеркале? Это наша деточка в зеркале! А почему у тебя такая ямочка над губкой? Потому что когда детки должны родиться, то ангел прилетает и губки им замыкает, вот так! Чтобы они не рассказали, что помнят; они ведь все помнят про вечность, про переселение душ...

Ангел имеется в виду, конечно, символический. Бабушкины религиозные убеждения сводятся к довольно смутной мысли, что что-то все-таки есть; но, как интеллигентный человек, атеисткой она себя не считает.

Но, действительно, ребенок еще совсем недавно существовал только в виде идеи, гипотезы, был только надеждой и намерением. Или ошибкой и неумолимо приближающейся большой неприятностью. И вдруг появляется на свет и оказывается таким сгустком именно материи, беспамятной материи. И тем не менее, как скоро начинает это беспамятство проясняться... Как все же пугает этот недоумевающий младенческий взгляд. Недоумевающий: куда же вы меня? зачем? что же это такое? Вроде бы младенец, очнувшись от шока рождения, помнит еще нечто лучшее и спрашивает: куда же это меня занесло? Может быть, даже по ошибке, совсем не туда, куда предполагалось? Может быть, предполагалось не мальчиком, а девочкой; не девочкой, а мальчиком?

Реальность случилась недавно и может расползтись и исчезнуть в любой момент. Все эти временные обстоятельства: мороз за окном, темнота зимняя среди дня, крик и ссоры на полупонятном еще языке, динозавры, которые водятся в страшной, черной ванной с синим адским пламенем газовой горелки, вещь, падающая вниз, всегда вниз, если ее выбросить из окна, – все это так еще непроверенно, недостоверно.

– Смотри, Сашенька, кто там в зеркале?

Сашеньке неинтересно смотреть в зеркало на себя и бабушку. Вот что интересно: зеркало это трехстворчатое, и можно сдвинуть створки и сделать коридор, улицу. Зеркало само в себе отражается, без конца. И там должно быть зазеркалье, где настоящая жизнь.

Вещи падают из Сашенькиных рук постоянно, и в третий, и в четвертый раз отказываются взлетать, и глазки смотрят рассеянно.

Бабушка предохраняет вещи от разрушения, сторожит все эти эпицентры, где сила притяжения особенно угрожающая, – лестницы, подоконники; следит, чтоб ребенку не удалось улизнуть через какие-нибудь прорехи существования. Бабушка ограничивает Сашеньку скучными законами природы, которые, наверное, сама и выдумала.

К тяжести еще прибавляется липкость бабушкиной любви, липкость увеличивает притяжение. Любовь – это такое липкое, клейкое, из которого невозможно выпутаться. Отрывая эти тягучие нитки клея, удастся только все больше и больше запутаться и завязнуть.

Сашенька пытается от бабушки спрятаться, под столом, например. Или на прогулке куда-нибудь отойти. Но это совершенно бесполезно, все равно она находит, плачет, всматривается в отчаянии в Сашенькины рассеянные глазки.

Из-за этих рассеянных глазок у бабушки возникает идея музыкального образования. Музыка Сашеньке нравится. Гладкие клавиши, белые и черные, белые и черные, и совсем не похожие на клавиши закорючки на бумаге, и не имеющие никакого отношения к закорючкам и клавишам однообразные звуки гамм; время останавливается, на Сашенькину голову опускается некий полусон, туман... А что происходит в этой голове – никто не знает. Никто никогда не знает, о чем ты думаешь; можно и не прятаться под столом.

Одновременно с музыкой Сашенька начинает читать, это тоже помогает, отвлекает от скучного времени. В книжках есть пропуски между одним интересным событием и другим, провалы, не заполненные тягомотиной, непрерывным течением жизни.

Дети такие часто болезненные, их часто подташнивает от зыбкой реальности.

Бабушка тоже не любит ежедневной возни, в домашнем хозяйстве не хватает сюжета, драматического напряжения. Она все время придумывает сложные и угрожающие жизни ребенка болезни. Детство у Сашеньки именно такое, как модно в образованных семьях: сплошь из необитаемых и таинственных островов, сыпи, компрессов, мушкетеров, микстур, пестрых лент, пилюль, налетов в горле, пляшущих человечков, навсегда вплавленных в мозг бредом и жаром.

Кончаются все болезни в переходном возрасте. Бабушка, побаивающаяся всякой физиологии, от проблем телесных скромно отдалается, переключившись полностью раз и навсегда на развитие Сашенькиного интеллекта. У Сашеньки от всего этого остается презрение и недоверие к своему, бабушкой вылеченному и выкормленному телу – источнику унижений, боли, многодневной постельной скуки. Кроме того, остается абсолютный стоицизм; ни о каких болезнях и заикаться не хочется, с аппендицитом увозят уже на «скорой помощи», после нескольких дней глухого спартанского молчания.

Так что с подросткового возраста и охраной Сашеньки от повреждений, и всем прочим, с интеллектом не связанным, занимается уже Женечка.

Женечкина надоедливая любовь к Сашеньке началась с незапамятных времен.

Некоторых детей, видимо, этот родильный ангел замыкает основательно, раз и навсегда, а может, им и помнить нечего. Они не задумываются никогда: а не подкидыш ли я? Они не понимают, что подкидыш – почти что принц. Для Женечки папа-мама, семья-школа, зима-лето, мальчики-девочки – все это несокрушимая и единственная реальность. Только по части Сашеньки монолитная Женечкина душа дала почему-то трещину, как это бывает иногда в случаях несколько чрезмерного душевного здоровья.

И любовь эта выражается в какой-то степени лестно: в подражании, следовании за каждым шагом. Разинув рот, сося палец, расплываясь в блаженной, обожающей улыбке, смотрит Женечка на Сашеньку; как смотрят дети на диковинное существо, на салют, на канатоходцев в цирке. Бабушка расценивает эту щенячью преданность как первую из выданных ее удивительному, одаренному ребенку премий, которых, она уверена, предстоит еще много. По Женечке, этому эталону заурядности и нормы, можно проверять, как быстро Сашенькино развитие уходит вперед.

Другие дети, пока были совсем маленькие, тоже бывали заморожены и играли в придуманные Сашенькой игры. Но годам к десяти все они перестают интересоваться ведьмами и волшебниками и ненавидят воображал, задавак, зубрил и подлиз. И Сашеньке пришлось бы плохо, но Женька, собака, защищая Сашеньку, не просто дерется, а дерется не по правилам, даже кусается. самого высоко ценимого детьми качества – отчаянности – в Женечке больше, чем во всех других, вместе взятых.

Но зубрилой Сашеньку дразнят зря. И подлизывания никакого нет; наоборот, это учителя немного трепещут. Им редко встречаются такие развитые, не по годам эрудированные дети; можно сказать, никогда почти не встречаются. Учителя поеживаются от этих рассеянных глаз и задают вопросы с опаской, боясь раскупоривать неудержимый поток подавляющей Сашенькиной эрудиции.

Женечкины детские столкновения с медициной, которых тоже немало, носят исключительно хирургический характер. Начинается со ржавых гвоздей, на которые ребенку этому свойственно наступать в дальних закоулках двора, куда хорошие дети не ходят, и продолжается сломанными на коньках, лыжах, крышах и заборах руками и ногами. Позднее постоянно взрываются петарды и колбы с загадочными экспериментами. И все это при необычайной ловкости, даже грации. На Женечкин дружелюбный и настойчивый интерес к физическому миру законы природы отвечают взаимностью и многое спускают. Родители кричат: «Это тебя чудо спасло! В следующий раз так не повезет!». И Женечка сквозь сопли и рев заверяет, что следующего раза никогда, никогда больше не будет! Это совершенно искренне. Во-первых, у них в семье все друг друга любят и не хотят огорчать; во-вторых, страшно больно.

Сашеньку удивляет этот возмущенный и агрессивный рев: почему надо немедленно сообщить всему миру, что Женечке в этот момент плохо? Значит, в остальное время – хорошо? Это поразительное открытие. Если во все остальное время, с непорезанной рукой, Женечке хорошо, то, значит, все люди внутри устроены по-разному, некоторым почти всегда хорошо, некоторым – не скучно. Это открытие, летний двор, солнце, рев, хлещущая кровь всегда будут вспоминаться потом, при взгляде на серебристый шрам на загорелом Женечкином плече. Потому что от всех приключений остаются Женечке только разнообразные светлые шрамы на золотой, загорелой коже.

Женечкины родители, люди тяжело добросовестные, много работают. Они встают утром из чувства долга и ложатся вечером для здоровья. Они считают, что на жизнь надо смотреть реалистически. Время от времени они говорят: надо собрать наших. Они вообще-то мало разбираются в том, что люди делают помимо работы и семейных забот, но принимают гостей, как полагается. Вынимают специальный гостевой сервиз и разговоры за столом ведут на специальные гостевые темы. Совершенно ясно, что в обычной жизни они никогда ни про что такое не говорят. Происходят иногда странные недоразумения; оказывается, что по какой-нибудь гостевой теме – про бессмертие души, например, или про абстрактное искусство – муж и жена имеют совершенно противоположные мнения. Они смотрят друг на друга в недоумении, явно делая умственную заметку обсудить это впоследствии наедине, и так же ясно, что забудут, не успеют. Они работают, заводуют лабораториями, строят гараж. На холодильнике у них висит расписание дел на месяц вперед.

Сашеньку в старших классах тоже приглашают, хотя все никак не могут понять: отнести Сашенькино магическое влияние в дебет или в кредит? С выкрутасами ребенок, практически подкидыш, несчастный ребенок. С другой стороны – такая начитанность, эрудиция в гуманитарной области. Это Женечке полезно; потому что, говорит мама, без интересов в гуманитарной области нельзя стать всесторонней личностью.

К концу вечера от зубодробительной скуки, от которой просто мозги чешутся, Сашенька начинает произносить монологи.

Женечкин папа слушает подозрительно. Он тоже всё книжки читает, он считает своим долгом следить. Притом действительно читает, не перескакивая с одного на другое, а добросовестно прочитывая все страницы подряд; и, хотя впоследствии своих мыслей о прочитанном не думает, но все факты тренированным умом помнит. Ему совершенно ясно, что Сашенька очень много перевирает, особенно даты. Несет отсебятину, связывает зачем-то вещи из совершенно разных областей, путает терминологию. Удивительнее всего: как можно с таким жаром

и интересом говорить обо всех этих несерьезных, гостевых, праздничных вещах, как будто это так же важно, как, например, выбивание денег на лабораторию?

Сашенька все говорит, говорит. Если много говорить, то не надо других слушать и не так скучно. Все окружающие – школа, Женечка, бабушка – кажутся персонажами предисловия, которое надо поскорее перелистать, после которого должен быть пропуск, белый лист, и – первая глава, в другом мире и с другими действующими лицами. Ведь должна же существовать где-то вместо всего этого занудства и убожества – и настоящая жизнь.

Бабушка не бывает на этих обедах. Она находится в сложных отношениях с Женечкиным семейством, не ходит к ним и у себя не принимает, чего они никогда не замечают по крайней занятости и крайней простоте душевной. Поэтому бабушка Сашенькиных монологов никогда не слышала, а она бы так ими гордилась.

– Я леплю душу этого ребенка, – говорит бабушка знакомым.

У бабушки гости тоже бывают редко, и потом она подолгу сидит за столом и курит. Бабушка очень красива. Красота эта была ей дана по ошибке и плохо ей идет, как будто с чужого плеча; как и с домашним хозяйством, с красотой своей она обращается неумело. Она сидит, курит, из глаз, накрашенных по поводу гостей, текут черные слезы; и пахнет от нее бездарными сладкими духами. А Сашенька, промолчав весь вечер, смотрит на нее из темноты. Она всегда принимает гостей при свечах.

– В тебе совершенно нет тепла, – говорит бабушка.

Сашеньке представляется грелка, отвратительно булькающая и переливающаяся, пахнущая резиной грелка. Бабушка хочет, чтоб в Сашеньке было тепло, как в грелке.

– Ты, – говорит бабушка, – со своей отрешенностью! Ведь тебе предстоит огромное будущее, вокруг тебя будут удивительные люди. А с кем ты дружишь? Ведь это такой примитив! И сколько может продолжаться эта бессмысленная дворовая дружба? Неужели ты любишь эту жизнерадостную амебу?

– Нет, – честно отвечает Сашенька.

Как правило, Сашенька избегает говорить бабушке правду, но значения этого ответа она все равно не поймет. Дело в том, что где-то к старшим классам Женечкина любовь достигла такой силы прямых, непреодолимых желаний и была настолько однозначнее и сильнее, чем рассеянные возражения Сашеньки, что гораздо проще было с этой решительностью никак и не бороться. И любовь эта была направлена вовсе не на Сашенькину духовную суть и одаренную натуру. Как дети хотят красивое и яркое полизать, так, видимо, и Женечке необходимо было для полной близости, для отчаянной попытки понимания сблизиться и узнать Сашеньку единственным известным способом. В Женечкиной рискованной, отчасти разбойничьей жизни был уже в этой области какой-то опыт. В смысле понимания из этого, конечно, ничего не вышло, а в смысле преданности собачьей и абсолютного обожания стало еще хуже.

Для Сашеньки происшедшее между ними не имело особого значения. Самым интересным в этой истории была именно тайна, неоднозначность, двойная жизнь, преступление.

По семейной традиции Женечка получает научное образование, с такой узкой специализацией, что даже название этой профессии можно найти только в словаре; и этот один квадратный сантиметр мироздания изучается Женечкой с большим старанием и любовью.

И Сашенька тоже защищает какой-то диплом, на какую-то музыковедческую или общекультурологическую тему; это неважно.

После этого время окончательно останавливается. Это в детстве кажется, что все может, даже должно измениться; в детстве есть хоть минимальная надежда. Пусть и в том же мире и даже в том же окружении, но роль, по крайней мере, будешь со временем играть другую. Теперь и этого нет. Постоянно стоит не то март, не то февраль. Снег тает, бурая, чавкающая жижа под ногами и кофе в кафетерии возле Сашенькиной работы – одного цвета. И лужи липкие от этого кофе на грязной пластмассе, и лужи на улице, постоянно промокшие ноги, насморк,

темнота – все это не имеет никакого отношения к настоящей жизни, даже представить себе невозможно, что окружающие люди относятся к этому существованию серьезно, строят какие-то планы. Изменить ничего нельзя; главное – от Женечки невозможно избавиться.

Женечке вообще не свойственно обижаться, а тем более на Сашеньку. За Сашенькой надо следить, ухаживать, защищать, а обижаться некогда, слишком увлекательна и заполнена жизнь. А живет Женечка очень активно, дружит с сослуживцами. Они разговаривают между собой на недоступном посторонним языке: к эзотерической профессиональной терминологии примешивается еще и терминология байдарок, аквалангов, горных лыж, сложного спорта с оборудованием. Добычей и починкой этого оборудования, планированием поездок, закупкой припасов занято все свободное от работы время. В этих походах происходят легкие и короткие Женечкины измены, которые к Сашеньке не имеют никакого отношения, от которых не остается даже и поверхностных следов. Только всякий раз принимается очередное решение, что этого никогда, никогда больше не будет.

Про любовные их отношения, по Сашенькиному настоянию, не знает никто. Объяснения, простодушно изобретаемые для себя Женечкой, – почему об этом нельзя знать даже самым близким и преданным друзьям, а самых близких и преданных друзей у Женечки полно, – эти объяснения неверны. Никто ничего не знает потому, что если и тайны не останется, то в чем смысл этого унижения и компромисса? Для Сашеньки считать Женечку и все, с Женечкой связанное, хоть и временным, но важным эпизодом жизни было бы чересчур глупо.

И, начиная с этого времени, у Сашеньки случаются не то чтобы запои – это было бы понятно на общем фоне – а какие-то ситуации в странных и совсем уж пропащих компаниях. Сашеньку приходится спасать и вытаскивать. Женечке ясно, в чем причина всего: Сашенькины таланты не находят признания и применения. Хотя и не совсем понятно, в какой именно области эти таланты, но они несомненны и исключительны.

Потом возникает на некоторое время интерес к буддизму, в котором хороши вовсе не переселение душ и отказ от желаний, – Сашеньке известно по опыту, что полное отсутствие желаний ни к какой нирване не ведет, только все к той же скуке, – хороши в буддизме бесконечные повторы, гудения, мантры, от которых транс и туман в голове, как когда-то от гамм. Это скука, возведенная, по крайней мере, уже в другую степень. Но и странные компании, и буддизм приходят и уходят, а остается Женечка со своей непрошенной преданностью и непереносимой активностью жизни. И Женечке всегда, всегда хорошо. Эта жизнерадостность, которая когда-то казалась загадочной, теперь уже понятна Сашеньке: большинство людей никогда не натываются на стены камеры и живут в иллюзии неограниченной свободы.

Между тем в мире, где ничего и никогда не изменяется, в этом окружающем мире постоянного февраля, начинают происходить необычайные и непредвиденные изменения. В какой-то момент выясняется, что возможна поездка. Вернее, поездка почти невозможна; но не совершенно невозможна, как в прежние времена.

Бабушка советует конфеты, конфеты в красивых коробках, дарить секретаршам, от них все зависит. У Женечки и по конфетной части оказываются какие-то знания и знакомства, и коробки удастся раздобыть. Но, в конце концов, может быть, действует другое. Возможно, что эти парки, прядущие нити судеб, – всемогущие секретарши – тоже чувствуют Сашенькину странную ауру. Вроде бы именно Сашеньке и полагается такая фантастическая поездка. Сашенька прощается с бабушкой, с Женечкой, и они уверены, что увидятся через две недели.

Они всегда в чем-нибудь уверены.

Ночь проходит в самолете, как когда-то в ангине и кори. Равномерный гул, непонятно – внутри, в голове или снаружи; неполная темнота, лихорадка. И еще вначале кажется, что надо будет что-то решать. Но когда из глухой черной ночи самолет начинает идти на снижение, внизу, под самолетом, начинает разворачиваться, и вздыбливаться, и нырять огромное сверкающее пространство – как исправленная карта звездного неба, карта новой, невозмож-

ной, невероятной галактики, геометрически расчерченной пересекающимися и разбегающимися шеренгами, цепями и кругами мириад звезд, совершенно затмивших слабо рассеянное мерцание старых звезд наверху.

И никакого решения принимать не надо. Эта светящаяся гигантская воронка, затягивающая в себя самолет, это и есть будущее. Давно предугаданное, знакомое зазеркалье.

Героический период активных действий, первый и последний в Сашенькиной жизни, продолжается около года. Надо вставать в пять утра и ехать в самый конец города, где прежде была гавань, где теперь судоходство сменилось судопроизводством, но чайки все еще летают и кричат на старом морском языке; кружатся и кричат между шпилями судебных зданий, как прежде между мачтами кораблей. Надо стоять в бесконечно длинных, крикливых очередях среди беженцев всех племен и народов; они тоже базарят и кричат, как чайки, на множестве непонятных и гортанных языков; тоже тоскливо и потерянно. Они едят дешевую уличную еду, пахнет горелым жиром. Это запах из учебников истории, это бароны-грабители жарят на вертелах вепрей. Отстояв в очередях, Сашенька бродит по улицам, где все продается, продается, продается; в крошечных лавочках можно найти подержанные летающие тарелки, засушенные человеческие головы. Город этот безусловно настоящий, не из предисловия, а из первой главы. И Сашеньке кажется, что настоящая жизнь начнется вот-вот, почти уже началась,

Потом все вдруг останавливается.

Здесь тоже есть законы природы; более того, если в прежней жизни они иногда все-таки нарушались, хотя бы по бестолковости, то здесь они незыблемы и пользуются всеобщим уважением. Правил оказывается гораздо больше, чем раньше. Даже отклоняться от правил полагается по каким-то своим правилам. Правила здесь другие, не те, что прежде, но святая вера в эти правила точно такая же. Все уверены, что только такие правила и могут существовать, что они абсолютны, а Сашеньке все вспоминаются другие и прямо противоположные абсолютные правила, и от этого тошно вдвойне. На всех увиденных Сашенькой холодильниках висят расписания дел на месяц вперед. Как будто время, расписанное по секундам, перестает нудно двигаться все в одном и том же направлении, не прерываясь, тупо и равномерно пережевывая важное и неважное. Люди здесь все время говорят друг другу, бросают на ходу, между делом: «Я тебя люблю!» – «И я тебя!». Как будто значение этого слова – «люблю» – всем заведомо понятно.

Одно преимущество – здесь очень легко спрятаться, никто тебя особенно не разыскивает. И никакой определенности, принадлежности, ни к классу, ни к кругу, ни к слою населения; никто не опознает тебя с первого взгляда, никому о тебе ничего заведомо не известно. Никто не ловит, не связывает, не ограничивает мнениями о тебе, надеждами на тебя, навязчивой любовью. Главное достижение Сашеньки в этой новой жизни – пустота. Реальности – людей, вещей, постоянной работы, средств к существованию – почти нет. В этой пустоте, паузе, можно сидеть и ждать. Продолжаться эта ситуация не может, она должна измениться.

Сашенька ходит по городу. Это такой город, что если ходить долго, безостановочно, то время исчезает, и забываешь, кто ты и что с тобой было раньше; и кажется, что можно исчезнуть за каждым углом, что новая жизнь может начаться за следующим поворотом.

В отличие от того города, в котором когда-то Сашеньке случилось родиться – разлапистого, расхлябанного, приземисто-квадратного, который обволакивал, удерживал, – этот город никого не удерживает, никому не навязывается в друзья и родственники, никого не считает своим.

Город узкий. Длинный, как нож. Каждая улица уходит в узкую щель неба, как в светящуюся щель приоткрытой двери, каждая улица уходит в бесконечность, к точке схода, к концу перспективы; густота материи уже достигла здесь предела насыщенности и дробится, рассыпается, кристаллизуется; город отражается сам в себе. Город выстраивается из бестелесных пря-

моугольников расколотого отраженного неба. Закат угасает на востоке, восход вспыхивает на западе. Все здесь гости, все чересчур старательно одеты и чересчур оживлены, и шум толпы, как шум собирающихся гостей в начале праздника, шум нервного, возбужденного ожидания.

Сашеньке снится иногда, что появляется Женечка и привозит с собой сундук со старой одеждой, пропахшей кислыми окурками, плохо отстиранным потом, сладкими бабушкиными духами. Одежду эту, из свалывшейся шерсти свитер, Женечка натягивает на Сашеньку, заставляет надевать через голову. Сашенька путается в рукавах, задыхается в узком воротнике – по лицу, по рту ползет свалывшаяся тоскливая шерсть, а бабушка говорит: «Надень, надень, тут у вас такие сквозняки, в этом городе так дует». Конечно, это бабушка приехала, привезла сундук. Сашенька задыхается в отвратительном узком воротнике – в дверь звонят. Сашенька, полупроснувшись, думает: пожар, полиция, религиозные миссионеры? И глядит в глазок двери, ожидая мормонов или свидетелей Иеговы, жаждущих спасти, носителей благой вести, доброжелательные, темные, коричневые лица. Но лицо там – светлое, белое, то есть золотое, с золотыми волосами, с золотой кожей, с детской увлеченной, встревоженной улыбкой, все еще ожидающей от Сашеньки чудес, театра, канатоходцев. Это Женечка, совершенно без всякого чемодана, в свежей и старательной одежде.

Почти с порога – и даже Сашенька проявляет неожиданный почти что восторг – после того как они поднимаются с помоечного матраса, Женечка начинает все кругом переставлять, мыть и рассказывать, рассказывать, сообщая ненужные новости из прошлого.

Женечке пришлось вырваться из своего клубка родственников, друзей, коллег, среди которых было всегда так уютно и привычно, от которых и в голову не приходило чем-то отличаться, а наоборот, любая двоюродная сестра, любой соученик казался продолжением собственной личности. Произошло это не только потому, что без Сашеньки жить было невыносимо, но важна была и любовь к родителям, необходимость их содержать. Родители, реалистически глядя на жизнь, всегда откладывали на черный день, но все это пропало, когда жизнь вдруг вздумала совершенно нереалистически измениться. И вот Женечка, в результате всей этой любви, живет тут по контракту, в этом чужом, неродном, сумасшедшем каком-то городе. И у Женечки началась уже не только блестящая карьера, но и благосостояние началось, включая покупку дома с рассрочкой на тридцать лет; надо думать о будущем.

Говорит и Сашенька. И выговаривает все, все молча передуманное за это время замечательной спрятанности и уединения. Утешает только, что Женечка, как всегда, ничего не поймет, только запомнит даты, факты, адреса и иностранные слова.

Под утро в пыльном сером свете следующего дня на Женечкином наивно разметавшемся, вечно загорелом физкультурном теле светятся серебристые шрамы, знакомые Сашеньке с детства, на ощупь. «Как же это человеку удастся извлечь из несовместимых цивилизаций золотую середину и соединить? – думает Сашенька. – Соединить нелепо, и из этого получается кольцо Мебиуса, имеющее одну непрерывную плоскость».

Пауза, старательно выдерживавшаяся уже несколько лет, за которой должна была последовать настоящая жизнь, эта пауза теперь безнадежно прервана.

Дом Женечкин на окраине. Скромный дом; по обе стороны ряды таких же новопостроенных домов. Женечка по выходным его красит, чинит, достраивает, не понимая панического ужаса Сашеньки при всяком упоминании о тридцатилетней рассрочке. Именно это ведь и хорошо в местной цивилизации: стабильность, возможность планировать на долгий срок – это и прекрасно! Представления о прекрасном у них не совпадают, более того – прямо противоположны. Но ведь любовь важнее, ведь они знают друг друга так давно, думает Женечка. Золотые Женечкины мускулы, удлиненные теннисом и бегом, всем этим инженерным спортом, походами на байдарках с пением песен, все это пришлось здесь очень к месту. Чудовищный акцент не вызывает смущения, узкая специальность оказалась совершенно необходимой для прогресса человечества, и название ее тут всем известно. Конечно, Женечку мучает тоска по

своим. Кроме того, обидно и тревожно за Сашеньку. Почему даже здесь Сашеньке не выдали полагающихся премий, признания и блистательных успехов? Но в остальном, если только с Сашенькой все будет в порядке, в остальном все хорошо. Только непонятно – что происходит с Сашенькой?

А Сашенька каждый день уходит из дому. Люди, которых принято считать нерешительными, не представляют себе возможности терпеливо развязывать узел. Для Сашеньки – узлы можно только перерубать, только побег возможен. Но побег уже был, оказался недостаточным. Можно сбежать из дома с тридцатилетней рассрочкой, но все будет продолжаться в том же бабушкой вскормленном и залеченном теле. Что еще ужаснее – с тем же сознанием, постоянно перемалывающим навязанные правила и законы, опять и опять отказывающимся от этих правил, которые и отказа-то не стоят, которые необходимо полностью стереть, забыть и больше не знать, как в младенчестве...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.